

Глава - 2. Капуста Романеско

Когда Томет добрался до парка, выбранного им для его *experimentum crucis*, солнце успело подняться достаточно высоко, укоротив тени у окружающих предметов и избавив глаза от необходимости щуриться под ослепительными горизонтальными лучами. Свежий утренний воздух охлаждал рану на виске, отчего та слегка ныла, напоминая о себе... и о том, что скрывалось под ней. Впрочем, даже без этого ощущения Томет ни на минуту не забывал о причине, которая его сюда привела. Он не спеша гулял по парковым аллеям, внимательно присматриваясь ко всему, что попадало в его поле зрения, словно видел это впервые. Каждый встречный представлял для него неподдельный интерес: увлеченно болтавшие парочки, дремавшие на лавочках пенсионеры, шлепавшие кроссовками по беговым дорожкам целлюлитные бегуны, а также самодовольные семейства, выгуливавшие на поводках твякающих генетических уродцев и собственное потомство.

Томет ощущал внутри себя собранность и напряжение, которые до этого возникали у него лишь во время скрупулезной работы над проектами — сейчас ему было важно, чтобы ни одна деталь реальности не ускользнула от его внимания, чтобы никакая случайная невнимательность не стала причиной ошибки в оценке собственной адекватности. Как никогда ранее, он боялся даже малейшего искажения в собственном восприятии окружающего мира и населяющих его людей. Однако, чем дальше он наблюдал, тем больше у него усиливалось ощущение, что эта реальность расплывается и ускользает от него. При беглом взгляде ему казалось, что картина вполне привычная и ничем не отличается от того, что он привык видеть раньше, и — что для него сейчас было крайне важно — от того, что видят все остальные. Но стоило ему присмотреться, задержав взгляд на чем-то одном, как оно, ничуть не изменяясь и оставаясь прежним во всех элементах своего визуального ряда, в звуках и запахах — начинало выворачиваться наизнанку, представляясь совершенно неожиданными образами... Словно буквы текста на отраженной в зеркале странице, которые до этого он видел лишь в перевернутом виде, и о принадлежности которых к определенному алфавиту мог лишь догадываться, не в силах опознать ни одного слова, все вдруг сразу — словно зеркало убрали или добавили еще одну отражающую поверхность — обрели смысл, слившись в какой-то поразительный текст...

Он шел по дорожке, присматриваясь к окружающему пейзажу и прислушиваясь к прохожим, и все, что он при этом воспринимал своими органами чувств, лишь крохотную долю секунды существовало в привычном виде кустов, скамеек, мощеных дорожек, шагающих по ним живых людей, занятых осмысленной беседой или играющих в спортивные игры. В следующее же мгновение все эти фигуры замирали в каком-то непонятном стазисе, превращаясь в некую аморфную массу, детали которой не только сливались между собой, но даже переставали отличаться от антуража, составлявшего парковый контекст. Боковым зрением Томету еще удавалось фиксировать какое-то движение среди этих фигур, еще получалось идентифицировать их былые роли, категории и смысловые различия, однако, стоило ему сосредоточить на них свое внимание, сфокусировать на них взгляд, как они тут же оказывались застывшими формами, безвольно плывущими в каком-то медленном водовороте самоповторения, циклически воспроизводящем одни и те же трансформации, которые взаимно компенсировали друг друга, складываясь в какие-то турбулентные структуры, подчиняющиеся последовательностям, лишенных какой-либо возможности отклонения от неведомого маршрута... Внимание Томета периодически выхватывало обрывки речи проходящих мимо людей, но и она, еще

совсем недавно казавшаяся ему вполне осмысленной и обладавшей бесчисленным множеством контекстуальных нюансов, отныне представлялась ему то бесконечным рефреном куплета, воспроизводимым заевшей пластинкой, то однообразным бормотанием, произносимым вразброд сотнями голосов — словно Томет оказался за кулисами театральной сцены в окружении статистов, изображающих гул толпы повторением одной и той же фразы: *“о чем говорить, когда говорить не о чем”*.

Только что он обогнал двух стильно одетых спортивных девиц, гордо носящих на своих лицах растянутые — от подбородка до лба — маски карьерного успеха, а на собственных спортивных достижениях — столь же туго натянутые леггинсы. Он успел заметить, что речь обеих состояла наполовину из существительных мира финансов, наполовину из курортных глаголов. Чуть дальше он прошел мимо парочки недавно разродившихся мамаш: хвастаясь друг перед другом своими сосунками, они вдохновенно обсуждали их кормежку и стул, жадно и со вкусом смакуя каждую деталь. На самом деле Томет лишь догадывался о том, что составляло предмет всех этих бесед — стоило ему повернуться в чью-либо сторону и присмотреться внимательнее, как его начинало преследовать навязчивое впечатление, что губы зачитывают один и тот же текст, и что смысловое наполнение обоих диалогов абсолютно идентично. Более того — Томет откуда-то совершенно точно знал, что и девицы, и мамыши, и их обгадившиеся сосунки представляют собой неотличимые копии друг друга и полностью взаимозаменяемы — как однотипные детали конструктора в каком-то донельзя примитивном игровом наборе...

Увлеченный этими наблюдениями, он миновал двух благообразных джентльменов с портфелями и хорошо поставленной дикцией: *“экология... квоты... глобальное потепление... ООН... популяция...”*, а еще через минуту со стороны лавочки из-под кустов донеслось: *“пойла хватило, но шашлыки уже... вернуться, заодно и баб прихватить...”* — Томет узнавал все части речи, ему были доступны каждое существительное и прилагательное, даже пропущенные слухом слова он реконструировал без малейших усилий. Но в каждом из обоих случаев эти вереницы слов складывались в совершенно равнозначное бубнение, в какой-то мерный рокот, содержащий однообразные повторяющиеся примитивы, отличающиеся друг от друга лишь способом их вокализации... Словно одну и ту же мелодию пытались исполнить на разных инструментах и с разной степенью владения ими, как бы демонстрируя, что главный смысл заключен не в мелодии, а в использовании инструментов, в самой их эксплуатации...

Первое время он пытался прислушиваться, надеясь вернуть себе знакомое восприятие дискурса, стараясь найти смысл в том, что составляло основу переживаний говорящих, однако, чем больше усилий он прилагал, тем больше ощущался этот чудовищный эффект. В его генезисе у Томета не было никаких сомнений — слабая пульсирующая боль на левом виске сопутствовала восприятию всех деталей происходящего, как бы обрамляя их дополнительными контурами и не позволяя ни на минуту забыть о причине, по которой он здесь находится. Томет старался абстрагироваться от этого ощущения, прилагая все силы для того, чтобы на его мысли как можно меньше влияло то, что он нес в себе и чем являлся в настоящий момент, но странным образом это давало совсем обратный результат. Всё больше его преследовало ощущение, что содержательная часть речи окружающих абсолютно несущественна, что она выполняет функцию какой-то не расходуемой жвачки, которую животному дают

для того, чтобы у того не атрофировался жевательный аппарат, или же игрушки, которую дают младенцу, лишь бы чем-нибудь занять его внимание.

К этому моменту он уже был твердо уверен в том, что все окружающие — и влюбленные подростки, держащиеся за руки, и верные жены с супругами, тоскливо косящимися на загорающих неподалеку студенток, и пенсионеры в аляповато пестрой одежде, прекрасно дополняющей их пятнистые лица, и какие-то бородатые интеллектуалы, с жаром дискутирующие над разложенными документами — все они являются абсолютными копиями друг друга... даже не копиями, а многократными повторениями одной и той же отсылки на какой-то прототип, представленный под разными углами, но при этом остающийся одним и тем же — вне зависимости от того, какой возраст, пол, костюм, положение или материальное состояние отражались в той или иной его бубнящей проекции. Однообразный звуковой фон, дополняющий зрительную картину, полностью подтверждал этот вывод — каждая реплика, исходящая от этих квазисубстанций, была абсолютно тождественна всем прочим, все фразы были жестко детерминированы тем или иными факторами — эмоциями, образом жизни, интересами, режиссурой — логическими связями, которые в своей примитивности доходили до трюизмов. Содержательная составляющая коммуникации всегда оставалась в границах первого закона логики: закона тождества “ $A = A$ ”. Кажется, каждый говорящий ставит перед собой задачу ни в коем случае не шокировать своего слушателя новизной, пытаясь максимально точно повторить *своими словами* то, что было сказано до него... Наибольшим уважением пользовались те собеседники, которые тонко ощущали ритм этих повторений и вовремя уступали очередь другим, давая им возможность *выразить себя*, выдавливая из своего рта столь же предсказуемое однообразие...

Этот чудовищно растиражированный рефрен переставал казаться удивительным, стоило Томету обратить внимание на лица говоривших. Когда он приглядывался к ним, пытаясь найти хотя бы какие-то зацепки в их внешности, чтобы затем, опираясь на них, обнаружить различия в дискурсе — перед ним вставали совершенно неопишуемые образы. Вместо живых людей он наблюдал какие-то продолжения пейзажа, издающие такие же естественные звуки, как хруст гравия на набережной или шелест листвы от порывов ветра. Он попытался обнаружить границу, отделяющую скамейку от развалившегося на ней пенсионера — отлично помня смысл каждого из этих определений — однако, к своему крайнему удивлению, не нашел никаких подтверждений тому, что их семантическое членение на разные категории вообще чем-либо оправдано! Даже сама скамейка воспринималась Тометом как один из ракурсов чего-то общего, динамического, постоянно переливающегося, создающего мнимые псевдо-различия внутри себя при помощи самоподдерживающихся турбуленций, характер движения и структурная организация которых странным образом напоминали Томету бесконечно усложняющиеся, но неизменно сохраняющие свою структуру и внутреннюю простоту самоподобные поверхности. Элементы, черт бы его побрал, фрактала!

Посетители парка также были ими — каждый из них являлся не более чем фрагментом какого-то самоповторявшегося паттерна, с исключительной точностью, хотя и в собственном масштабе, воспроизводящим ту активность, в которую были вовлечены все остальные. Периодически Томет видел в этих однородных проекциях прежних людей, и поражался уже не той картиной, в которую они теперь складывались, а тем жизнелюбием, которое они продолжали излучать в своем “человеческом” облике, тем искренним интересом к бесконечному переигрыванию совершенно идентичных действий и той самодовольной вовлеченностью в хоровой речитатив, которые наполняли каждого из них.

“О чем они думают? Если их мысли целиком и полностью отражают то, чем они заняты, то это такие же самоподобные поверхности, за которыми не стоит ничего, кроме идеи бесконечного самоповтора, ничего, кроме попыток как можно тщательнее воспроизвести один и тот же мотив.” — Томет ощущал, что еще немного — и он сложит мозаику, приведя в систему свои впечатления от наблюдения такого чудовищного хоровода однообразия, — “Содержательность всей этой активности не превышает содержательности отражения, создающегося между двумя зеркалами, установленными друг напротив друга. Что же позволяет всем им ощущать такую вовлеченность в переживания этой повторяемости, этого клиширования, возведенного в абсолюте? Наверное есть что-то еще, кроме привычки, что обуславливает эту их уверенность в собственной значимости и дает им ту определенность, которая мне почему-то стала недоступна...” — тут он остановился на месте, зажмурившись и пытаясь сосредоточиться. Да, вот эта мысль. Томет наконец понял, откуда все окружающие так легко извлекают те смысловые категории, которые позволяют им находить содержательность — в собственной речи, отличия между собой и окружающим миром — в собственной визуальной картинке, вкус к жизни — в собственной активности... Для Томета реальность перестала представлять из себя “окружающий мир”, он просто чувствовал себя частью цельной и аморфной субстанции, а все те редкие уплотнения и турбулентности в ее структуре, которые ему еще удавалось обнаруживать в краткие периоды возвращения к нему привычного восприятия, случались в моменты, когда в нем мерцала способность ощущать себя центром этой фрактальной геометрии, возвращая на долю секунды ощущение “окружающего его мира”. Раньше это ощущение *центра* было столь привычным, что даже не замечалось им, оно не покидало его на протяжении всей его жизни, но теперь ускользать от него. Фокус расплывался или постоянно смещался в непредсказуемых направлениях, лишая Томета уверенности в том, что это *его собственный* центр. Реальность вокруг него постоянно плыла — границы перемешиваясь, размывались обозначения воспринимаемых ощущений, визуальные фигуры, сохраняя геометрическую природу, сливались в качественно новые образы... При этом всем остальным посетителям парка удавалось сохранять твердую картину, насыщенную четкими категориями, раскрашенную яркой палитрой красок и осмысленную в привычном концептуальном наборе — центр наблюдения, в который они помещали себя (и которым они себя ощущали), оставался неизблемым несмотря ни на что. Будучи здоровыми людьми, свободными от воздействия опухоли, они не теряли своего внутреннего наблюдателя, сохраняя способность осуществлять членение всего, что их окружало — от *собственного* центра, от *себя*.

Томету потребовалось немало времени для того, чтобы обдумать сложившееся положение. Похоже, ему не оставалось ничего, кроме как принять свое нынешнее состояние как свершившийся факт. За это время он покинул парк и, продолжая свой променады, успел добраться до здания, в котором располагался их офис. Он ненадолго задержался перед ее зеркальными окнами — несмотря на то, что его взгляд упирался в матовый бетон фасада, отскакивая от глянца бликующих стекол, ему казалось, что ему с исключительной подробностью доступна картина происходящего внутри здания. Томет видел всех сотрудников — и тех, кто торчал перед мониторами, увлеченно трудясь над очередным заказом, и тех, кто с не меньшим увлечением дискутировал у кофемашины, и менеджера, собравшего очередной митинг с участием клиента, которого требовалось убедить в том, в чем он сам хотел быть убежденным... Не было никаких сомнений — то, что сейчас произносится в офисе, ничем не отличаются от бубнения мамаш с сосунками в колясках или алкашей с портвейном под скамейками. Когда Томет пытался вспомнить лица своих соседей по офису, перед ним возникали такие же рутинные

самоповторы, самодовольные циклические турбулентности, порожденные условным вычленением однообразных потоков внутри той самой аморфной массы.

Томет нащупал пальцем пластырь на виске и задумался, пытаясь всколыхнуть воспоминания раннего периода, когда он еще был “самим собой”. Не без труда ему удалось восстановить такую формулировку, которая выводила его на семантическое поле давно забытых ощущений: много самоповторов... нет – много *лет* назад, когда он еще бездумно... *искренно* горел потребностью быть полезной инструментом... *специалистом*, востребованным обществом, когда любые успехи подкрепляли ощущение его ограниченности... локальности... *самоидентификации* — он мало чем отличался от них. Он был абсолютно здоров — настолько, насколько может быть здоровым человек, лишенный наследственных заболеваний, умеренный во всем и следящий за своим состоянием... Все это осталось в прошлом. Сейчас само понятие заботы о своем здоровье стало для него нонсенсом — лишенный точки отсчета, он не знал, *что* и за *чьим* состоянием способно следить. Учитывая безусловное влияние опухоли на его восприятие, суждения, на всю его философию, полагаться на самооценку он уже не мог. К сожалению, попытка обрести точку отсчета путем наблюдения за окружающими также закончилась провалом — вместо полноценно живущих людей он обнаружил какие-то конвейерные манекены, разыгрывающих бесконечную мыльную оперу, полностью лишенную сюжета, хотя и обладающую каким-то непостижимым смыслом, плоскость которого не имела пересечения с плоскостью, в которой они произносили свои однообразные реплики, возились с бессмысленным реквизитом и облагораживали свои конвенциональные декорации...

Что-то произошло с пространством вокруг Томета. Возможно, он опять слишком отвлекся на свои мысли, но внезапно он обнаружил, что находится уже довольно далеко от места своей работы. Он стоял перед зданием исторического музея, являвшегося одной из городских достопримечательностей, возведенном в эпоху то ли Густава, то ли Ульрики... школьные сведения начисто стерлись из его головы, сохранив в памяти лишь какой-то уродливый асимметричный фас и оскомину отвращения к тщательно пропагандируемому пиетету перед аристократическим пафосом героев национальной истории.

Он позволил толпе туристов и празднующихся аборигенов увлечь себя в этот мраморный храм культурного наследия. Сам музей его ничем не привлекал — Томет с детства был равнодушен к подобным складам осколков эпохального прошлого. Однако современники, снующие внутри музея с вытянутыми в скучающем любопытстве лицами, не могли не обратить на себя его внимание. Он остановился в центре одного из залов и неспешно огляделся вокруг себя. Его глазам выхватили невоспитанного сопляка, пытающегося взобраться на бронзовую фигуру под ободряющие взгляды жирной мамы, сосредоточенных знатоков живописи, сверяющихся по брошюрке с названиями висящих на стенах картин, веселящихся девиц, делающих селфи у яркого экспоната... Ощущение того, что во всех посетителях он видит одно и то же лицо, повторяющее одни и те же действия, внезапно снова захватило Томета, став настолько сильным, что у него на пару секунд закружилась голова, окружающий мир схлопнулся в замкнутое пространство – при этом сам Томет оказался не внутри, а снаружи того, что осталось... Это, впрочем, быстро прошло, и он снова вернулся в музей, продолжая наблюдать за пиршеством в столовой культуры.

Ему сразу бросилась в глаза разница между двумя категориями посетителей. Местные жители (точнее, соотечественники Томета), рассматривали экспонаты с целью найти в них что-то знакомое, обнаружить какую-то часть собственного опыта или отражения того уклада, в котором они выросли. В это же время снующие между ними туристы разочаровывались именно тогда, когда узнавали в выставленных образцах знакомые мотивы, поскольку предметом их поисков был “особый колорит”. Они чаще остальных останавливались у поясняющих табличек, чтобы прочесть подписи к экспонатам, тогда как аборигены были равнодушны к комментариям и текстовым подсказкам, словно заранее имели внутри себя некоторую канву, в которую вплетали визуальные впечатления. У Томета возникло ощущение, что представители обеих категорий пытаются установить личную связь с экспонатами музея, однако делают это совершенно разными способами. На лицах соотечественников прослеживалось стремление обнаружить самих себя в тех исторических останках, которые покоились внутри стеклянных витрин или возвышались на мраморных пьедесталах, Томету даже казалось, что он слышит их шепот: *“Я наследник этих древних манускриптов, статуй, этих чаш, покрытых глазурью, этих инкрустированных ваз, этих восстановленных доспехов... Их оставили мои предки. Это моя культура, это мой пейзаж, это моя карта, это я сам – под толстым стеклом, на постаментах, внутри этих доспехов...”*. В то же время чужестранцы каждый из обнаруживаемых ими художественных экспонатов и исторических реликтов старались поместить в собственную идентификацию, найти им место в своем опыте, втиснуть в собственные модели и представления: *“Теперь на этих ступеньках отпечатки и моих ног... Мои глаза воспринимали отблеск этих золоченых фигур и этого масляного ренессанса, о которых везде пишут, что они — достояния мирового искусства. Я представил, как пью вино из этой серебряной чаши – это уже мой опыт, я пойду с ним дальше... в следующий зал.”* При этом обе категории посетителей объединяло то, что все они старались таким образом продлить собственное существование в далекое прошлое, растянуть себя самих – на сотни лет назад. Аборигены протягивали эту связь от себя – к материальным свидетельствам многовековой истории, собранным и выставленным в залах этого музея. Чужестранцы старались притянуть эти экспонаты прошлого – к себе, приблизить эти исторические артефакты к собственному внутреннему миру, вобрать их образ в себя (легко закрывая глаза на то неизбежное искажение, которое он претерпевал в ходе этой процедуры). Томет пришел к выводу, что, несмотря на все различия в подходах, представителей обеих категорий объединяло главное: каждый из них безусловно ощущал ту невыразимую привлекательность и мощную притягательную силу, которая заключалась в главной характеристике каждого экспоната музея – в их вековой неизменности и способности противостоять самому времени.

Щелкающие камеры туристов напомнили Томету о том далеком времени, когда он увлекался фотографией, запечатлевая красочные горизонтальные природных ландшафтов или обрывистые вертикали обнаженных моделей. Теперь ему казалось, что на “камере”, через которую он много лет смотрел на окружающий мир, все это время стоял длиннофокусный объектив, дававший плоскую картину с узким углом обзора. Сейчас этот объектив сменился широкоформатным, обладающим огромной глубиной резкости, при этом вместо чудовищной дисторсии, неизбежной при точечном характере самого фотографа, он стал выдавать Томету геометрически идеальную картину, заигравшую совершенно неожиданными красками и сочетаниями элементов... Увы! — похоже, что этот точечный характер наблюдателя, утраченный им сейчас, позволял ему все это время обнаруживать в этой картине себе подобных и себя самого. Сейчас Томету казалось, что все окружающие и он сам присутствуют во всех точках, отражены в каждой детали пейзажа, а попытки локализовать какого-либо

индивидуума, включая того самодостаточного и полного мотиваций члена человеческого общества, каким когда-то был сам Томет, не приводили ни к чему.

Он понял, что покинул музей, лишь когда обнаружил, что однообразные паттерны изменили свой характер движения — броуновское бурление кластеров сменилось на однонаправленные потоки мутной массы. Он шел по площади, чье пространство через равные промежутки было структурировано отлитыми в бронзе монументальными референсами повторений, случившимися сотни лет назад. Между ними, не спеша, передвигались те, которым, вероятно, крайне польстило бы, если бы они узнали, что между ними самими, этими истуканами и прообразами этих истуканов не существовало абсолютно никакой разницы. И что лишь недостаток пространства и бронзы являлись причинами, которые препятствовали тому, чтобы наградить их аналогичными почестями за то, что они сейчас блуждают по этому плацу, пиная ногами скомканные пластиковые стаканчики — подобно тому, как прообразы этих истуканов совершали эквивалентные телодвижения, принимая (вместе с теми, кто возвели всех этих истуканов) собственные действия за судьбоносные свершения...

Томету было ясно, что вместе с собой он полностью утратил остатки той системы ценностей, которая лежала в основе всего окружающего мира, какое-то общее качество, которое наделяет смыслом явления и придает определенность реальности... создавая саму эту реальность. Которое позволяет получать эмоции от просмотра кинокартин, мотивировать себя на карьерное развитие, находить интерес в посещении экзотических локаций, обнаруживать смысл в собственной речи, описывающей опыт этого посещения, самозабвенно плодить собственные копии... — другими словами, все то, что, вероятно, и заключает в себе их вкус к жизни.

Размышляя об этом, Томет ощутил голод и огляделся вокруг в поисках ресторана или кафе. Как полагается в благоустроенном городе, удовлетворение потребностей желудка осуществлялось неподалеку от места раздачи духовной пищи — в трех шагах от музея. Томет нырнул в ближайший обнаруженный ресторанчик, намереваясь воспользоваться сменой обстановки и сосредоточиться на анализе полученных впечатлений.

В зале было немногочленно. Расположившись за столиком, он раскрыл претенциозно оформленную картонку и стал изучать *today's special*. Почти сразу его взгляд зацепился за блюдо, обозначенное как “капуста Романеско в кляре”. Повинуясь какому-то неосознанному интересу к названию, он тут же сделал заказ, вдогонку сказав официантке, чтобы чай был настоящий, а не растворимый. На что в ответ получил шаблонное вранье, что “*пакетированного чая они не держат*”. При этом она даже не скрывала, что ее совершенно не волнует — верит Томет её словам или нет.

Дальше он занялся тем, чем вынужден заниматься каждый, ожидающий заказ — принялся изучать соседей. За ближайшим столиком двое молодых людей возбужденно обсуждали эпизоды какого-то фильма. Оба были зеркальными копиями друг друга — перед каждым справа стояла чашка кофе, слева был аккуратно уложен современный смартфон. Третьим ярким пятном у каждого из них выступали пестрые носки, выглядывающие из-под задранных брюк. В плоскости, очерченной этими символами, жестикулируя, дергалась фигура в футболке. Через равные промежутки времени оба собеседника, не прерывая разговора, поднимали свои телефоны и проверяли — не пора ли возвращаться в офис. Молодые люди были стильно одеты и подстрижены под типаж “юного

профессионала”, у каждого на спинке стула висел модный рюкзачок — несомненно, полностью идентичный по содержанию своему собрату напротив.

Томет смотрел на них и не мог отделаться от ощущения, что он знает обоих уже десятки лет. Он готов был поклясться, что ремесленники этой возрастной группы всегда были причесаны именно так, что они во все времена носили за спиной такие же рюкзачки и точно так же выкладывали перед собой свои смартфоны — именно эти модели, которые сейчас лежали на столе. И обсуждали они именно этот фильм, этот же сюжет, тех же самых актеров — и в тех же выражениях... Он понимал, что это бред, что, безусловно, такого никак не могло быть, что мода, гаджеты, стиль и — в первую очередь! — сами люди находятся в безостановочной ротации, однако избавиться от этого ощущения он не мог. Он точно знал, что этих увлеченных собой ремесленников он наблюдал всю свою жизнь, читал о них в исторических романах, наблюдал в научно-популярных фильмах, реконструирующих быт доисторических племен... и даже видел их в какой-то передаче о стадных животных заповедника Серенгети. При этом Томет был абсолютно уверен в том, что речь шла не о типах социальной группы, не об абстрактных характерах, а именно об этих двух конкретных юнцах, сидящих сейчас напротив него за соседним столом! Он попытался всколыхнуть в своей памяти какие-либо иные лица, ассоциирующиеся у него с образом молодого специалиста, и — уже безо всякого удивления — принял от памяти категорический отказ.

Принесли заказ. Берясь за нож, Томет думал о том, что дело может быть не столько в памяти, сколько в общей способности к разделению каких-то категорий, к различению деталей, которые теперь от него ускользают. Из-за этого он не может участвовать в ритмической пульсации, осмысливающей поступки всех остальных, которая создается для них модой и регулярно меняющимися трендами общественного уклада. Похоже было, что механизмы, созданные для того, чтобы у бубнящей массы не возникало неизбежное в ее положении ощущение бессмысленной шаблонности собственной жизни, предназначенные для маскирования повторений, в которых протекает весь цикл существования каждой крупницы этой массы, для самого Томета теперь работали вхолостую. Для всех остальных эти регулярно изменяющиеся тренды продолжали задавать ту самую структурированность, которая превращала однообразное пространство в насыщенный ландшафт, полный красочных ориентиров и стимулов. Для всех, кроме Томета, который вместо этой живительной пульсации с каждым напряжением жевательной мышцы ощущал теперь лишь болезненную пульсацию шва на своем лбу.

В углу, за столиком под окном на руках молодой самки, отрешённо жующей пиццу, противно заквакала личинка примата. Это на мгновение отвлекло Томета, однако его взгляд тут же переключился на загорелую шатенку, сидящую неподалеку и внимательно изучающую пёстро иллюстрированный и, вероятно, очень интересный туристический журнал. Заметив его взгляд, девица поджала губы и переложила ноги. Этот жест задал мыслям Томета иное направление — подбирая остатки капусты и любуясь бюстом шатенки, он задумался о том, почему наблюдаемая в профиль женская грудь более эстетична и менее акцентирует физиологические каналы в её оценке, чем она же, представленная анфас. Напрашивался вывод, что причина этого заключалась в том же самом, что все утро беспокоило Томета — в ощущении себя целью месседжа, в отождествлении себя с тем, кому он направлен. До тех пор, пока ты не ощущаешь себя его адресатом, ты его оцениваешь отвлеченно, испытывая минимальное вовлечение в ту роль, которая вытекает из характера этого сообщения. Декольтированная грудь, смотрящая прямо на него, оценивалась бы Тометом совершенно иначе, чем

она же — развернутая вдоль линии горизонта... “Вообще, любая конкретизация адресата образа сужает возможный спектр его допустимых трактовок, предельно упрощая их до привычного перечня и, в общем случае, низводя до уровня физиологии. В которой, конечно же, нет ничего плохого...”, — думал Томет, продолжая изучать профиль шатенки, но мыслями находясь очень далеко от нее.

Журнал на мгновение опустился, открывая узкий лоб, из-под которого блеснула пара любопытных слегка выпученных глаз — шатенка убедилась, что находится в фокусе внимания, и, довольная собственной значимостью, вернула его на прежнее место. “Как же досадно, — продолжал думать Томет, — что под давлением роли млекопитающего перестаешь замечать эстетическое превосходство той же капусты Романеско над банальными женскими сиськами, вся привлекательность которых обусловлена...” Он не завершил эту мысль, потому что обнаружил вдруг, что уже наступил вечер, что обращенные к западу фасады домов успели окраситься в багровые тона, а сам он, как оказалось, уже покинул ресторан и теперь бредет по скверу, задевая головой густые разросшиеся кусты сирени.

Последние мысли за столиком навели его на идею прибегнуть к самому простому способу вернуть себе жизненную привязку и ощутить себя полноценным человеком — завершить этот вечер у женщины. Среди сотрудников фирмы у него была хорошая знакомая, с которой у него установились доверительные взаимоотношения, основанные на комплементарных интересах и полном взаимопонимании. Все складывалось как нельзя лучше — она проживала совсем неподалеку от того места, где он сейчас находился, наверняка уже успела вернуться из спортзала и теперь сидела дома, коротая вечер за чтением книги или штудирруя учебник иностранного языка (эти её привычки всегда импонировали Томету). Томет потянулся за телефоном, чтобы позвонить ей и предупредить о своем визите, когда внезапно до него дошло, что от данной затеи придется отказаться. Не прошло и недели, как он был у неё, а она, являясь замужней женщиной и дорожа своей самооценкой порядочной супруги, друзей по работе пускала в свою постель не чаще раза в декаду. Томет повернул домой.

“Я начинаю понимать, — продолжал думать он, — что идентичность складывается из регулярного повторения, что именно в локализованной однообразности, в раздражающей меня сейчас предсказуемости и предельности заключается то, ощущение чего утрачено... или вытеснено под влиянием опухоли.”

Тут он заметил, что проходит мимо прежней книжной лавки, и, не колеблясь, заглянул в нее. Бредя вдоль полок, он думал о том, что, в сущности, всякая идентичность, самость, “Я” требуют постоянной инспекции, причем осуществляет эту инспекцию тот же, кто владеет этой самостью. Томет усмехнулся, придя к тривиальному выводу, что воспоминания о самом себе вряд ли могут быть расценены как убедительное свидетельство подлинности “Томета”, поскольку осуществляются они самим “Тометом” — кем бы он ни был. В этот момент он, неловко повернувшись, задел стеллаж, и стопка книг, приготовленных к сортировке, свалилась ему под ноги.

Наклонившись, он принялся их подбирать. Первым он поднял какой-то философский томик — на корешке ничего не говорящая ему фамилия “Dennett”. Далее он подобрал с пола фолиант с шипящей славянской фамилией, посвященный, судя по азиатской физиономии с маршальскими погонами на обложке, любимой теме славян — смакованию собственных угнетений и репрессий. Поставил его на место и взял следующую книгу — это было хорошо знакомое ему собрание сочинений Оруэлла.

Наконец, поднял последнюю книгу — это оказалась история эволюции человека. Не спеша возвращать ее на полку, Томет начал листать: Homo Habilis... Homo Erectus... — и тут вдруг, глядя на иллюстрации, вспомнил, как пару месяцев назад он оказался на спортивных соревнованиях, происходивших на центральном стадионе. Длинноногие и поджарые приматы с азартом соревновались друг с другом — кто быстрее запрыгнет, забежит, забросит...

Томет услышал свиток судьбы и посмотрел вниз. И опять с высоты амфитеатра ему показалось, что перед ним какой-то бульон, что он глядит на какое-то бесконечное и бессмысленное перемешивание разнообразных ингредиентов непонятной массы, совершающей одни и те же ритмические движения, которые происходили на этом же самом месте — вчера, месяц, год, тысячи и даже миллионы лет назад... Это ощущение не было устойчивым, периодически Томету удавалось разглядеть в этой каше какие-то фракции, иногда он даже начинал различать среди них своих соплеменников — перед ним в каком-то рутинном хороводе сновали живые человекоподобные, хотя их вид и телодвижения навязчиво создавали впечатление стадных животных, приматов, организовано резвящихся обезьян. Как бы в подтверждение этого Томет разглядел внизу под собой ряды пальм с ананасами и бананами. Но едва он отвел взгляд в сторону, как тут же выяснилось, что это всего лишь раскрашенные под тропические темы зонтики от солнца, под которыми на судейских столах были водружены призовые кубки, сверкающие на солнце фальшивыми жёлтыми бликами.

Томет поднялся с трибуны и поспешил уйти со стадиона, испытывая тошноту, которую тут же отнес за счет влияния опухоли. У выхода он оказался в окружении толпы празднующих горожан, задравших головы и восхищенно рассматривавших небосклон, в который по-очереди взмывали картонные пакеты, начиненные смесью серы, селитры и угля — лопаясь с громкими хлопками, они разбрасывая вокруг симметричные фигуры, составленные спектрально чистыми сполохами искр. Каждому залпу этих шуток вторили восхищенные крики зевак — как бы обозначая начало и конец срабатывания какой-то грандиозной и невероятно примитивной рефлекторной дуги. Томет был уверен, что это животное удовольствие они испытывают даже не от самой огненной иллюминации, а от той предсказуемости и повторяемости рефлекса, который провоцировал у них каждый залп. “Я точно знаю, что они стояли так, задрав головы, тысячи и миллионы лет, и будут стоять еще столько же, пока на их телах будут головы и глаза, — с отвращением думал Томет, — Как им, черт возьми, удастся извлекать из всего этого впечатления?!”

В толпе начали увлеченно обсуждать увиденное. Томет яростно проталкивался мимо них, пытаясь поскорее выбраться из этого места и начиная ощущать, как внутри него нарастает паника — все попытки заставить себя ощутить вовлеченность в этот эгрегор, в этот жизнерадостный водоворот однообразия закончились полным крахом — он утратил саму связь с жизнью, и даже физическая реальность начинала становиться зыбкой, периодически распадаясь на какую-то неуловимую пыль, из которой в следующее мгновение образовывался новый непредсказуемый контекст...

Томет возвращался домой, не узнавая дороги, улиц, не обнаруживая людей в шествующих навстречу фигурах, видя вокруг лишь завихрения, турбулентные паттерны в каких-то циклических потоках, одни из которых обтекали его, другие — пытались увлечь в сторону... Из зеркальных витрин его телодвижения пародировала какая-то не поддающаяся отождествлению фигура, прототип которой был за гранью его понимания. О себе самом ему было уже трудно говорить даже в третьем лице — при

каждой попытке выразить мнение о чем-либо, он ощущал пустоту, стоящую в центре нарратива, там, где когда-то находился автор высказывания. Может быть это и было то, что называется шизофренией? Ответ на этот вопрос был не так важен для Томета, как идея, на которую он его натолкнул. На сегодня с него хватит впечатлений. Сегодня он просто ляжет спать, а завтра с самого утра он отправится к психотерапевту: *“Если это действительно профессионал, ему не привыкать, что к нему приходят не для того, чтобы вылечиться, а с целью узнать критерии здорового человека вообще.”*

продолжение следует

© Валентин Лохоня 2019.09.01

<https://nonnihil.net>